



# РАССКАЗ — газета

12+

№ 24 2025 г.

Издаётся с 1991 года

## СТИХИ НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

Аркадий Макаров (1940-2025) прожил долгую и счастливую творческую жизнь.

«Я опубликовал все, что написал», — говорил он часто.

Действительно, Аркадий Васильевич Макаров публиковался в лучших литературных журналах России, в последние годы издал множество своих книг, лауреат различных литературных премий. Но при этом Аркадий Васильевич не занимался само-рекламой, был скромным, внутренне свободным человеком, любил жизнь, людей, свои родные Бондари... А чувство поэзии у него было врожденным, феноменальным. Что и говорить? Он был богоугодным человеком, поэтому и ушел на Пасху. Светлая память навсегда останется об этом человеке и поэте!

\*\*\*

Неотвратимо время листопада.  
В природе нет, и не было чудес.  
Стоят деревья голые, как правда,  
Под непосильной тяжестью небес.

Им сока жизни вдосталь

не напиться,

Сжигает чрево ледяной огонь...

Скрипит ветла,

Как в доме половица

Скрипела под отцовского ногой.

Я — лист последний!

Умоляю:

«Сжалься,

Дыханье осени!

Суха родная ветвь.

И нету силы, чтобы удержаться.

И нету ветра, чтобы улететь...»

\*\*\*

Стою один над родиною малой,  
От дней минувших много ли

донёс?

Лишь ветерок касается, как мама,  
Моих поникших спутанных волос.

Стою без слёз. А надо бы оплакать  
Своё гнездо, ветёлки свежий срез.  
Остывший пепел — дорогая

плата,

За то, что называем мы прогресс.

Лохматый пёс не бросится

под ноги.

Не запоют тесовые полы.

Передо мной бетонный крест

дороги

И вольные четыре стороны.

## АВГУСТ

Дорога уже не пылила...

Вечерняя дума светла.

Последняя бабочка билась

В теснине двойного стекла.

Заметней вокруг перемены.

Вот лист закружился. И вот...

Милее становятся стены

И сцены семейных хлопот.

Пусть юность давно позабылась.

Мне редкая просесть к лицу...

А бабочка билась и билась,

Златую роняя пыльцу.

«Р

имлянцы, совграждане, товарищи дороге!»

В 1997 году я нечаянно поселился в Переделкине. Всемирно известный посёлок писателей пустовал и готовился уйти в небытие с молотка. Я ходил в Дом творчества звонить на бывшую ра-

боту, пытаясь получить не выплаченную за несколько месяцев зарплату. Однажды я опередил прихрамывающего старика. Высокомерный и раздражённый, он стоял с тростью у будки, ждал, когда я окончу разговор и положу трубку, лицо его постепенно краснело, а седые волосы белели. Я поругался с работодателем, положил трубку, истерично дёрнулся вон и нечаянно смахнул на пол зверски звякнувший аппарат.

Как же этот старик орал, срывался на фальцет, топал ногой и бил своей палкой по стойке вахтёров! Я удалился огушённый и в воображении своём продолжал ругаться уже с этим стариком: «Как Вы смеете мне тыкать?! — гневно вопрошал я и негодовал. — Да кто Вы... кто Ты такой?!»

Этот старик был Михаил Михайлович Роштин.

Как бы подкидывая колено, он хромал по пустым коридорам этого заведения, казался одиноким и всеми забытым. В лучших традициях любвеобильных мужчин, он оставлял старые и покупал новые квартиры своим жёнам и в итоге остался в тесном, больше похожем на склеп гостиничном номере Дома творчества. В этом Доме за ним ухаживали последние жена, театровед и преданная фанатка его творчества, и постаревшая вахтёрша, с которой он крутил страстный роман в молодые годы здесь же, в этом Доме, не казавшемся тогда таким унылым, постаревшим, заброшенным. Женщины окружали его с самого детства, с «женского эшелона», как и всё его поколение, родившееся незадолго перед войной.

Он был красивый мужчина. Мужественный, обаятельный и остроумный. От него всегда веяло свежестью и чистотой. Я думаю, сама аура его такая — светлая, чистая. Михаил Роштин из тех счастливых людей, которые никому не должны и никого не обидели; кто помогал, как мог, всем, просящим о помощи; на которых не злятся враги, которым не завидуют друзья; кого до сих пор любят и с теплом отзываются многочисленные любовницы, жены и дети.

Всем, кто не знал его, он казался высокомерным и суровым, это была защита. И драма жизни такая — обаятельный герой оказывается подлым, а отвратительный и кажущийся жестоким человек — на самом деле наивный добряк. А может быть, раздражительность, нервность вообще свойственны людям, большим эпилептикам. Припадкам этой болезни был подвержен и Роштин.

Драма началась с военного детства, может быть, с внутреннего сопротивления родной фамилии Гибельман, с которой трудно было жить, тем более драматургу. Но и отказ от неё что-то изменил в нём, привнёс в его творчество нечто искусственное, театрально отстранённое. Однако надо отметить, что ему чрезвычайно подходил псевдоним Роштин. Он и действительно был похож внешне то ли на благородного белогвардейского офицера Рошина, то ли на мудрого и независимого русского прозаика Михаила Михайловича, с несколько татарской раскосостью глаз, припухлостью век. Высокий лоб. Широкое, слегка красноватое и веснушчатое лицо. Мясистый русский нос. Внимательные, насмешливые, добрые, злые, бешеные, но всегда красивые глаза. Аккуратная профессорская борода. И странная деталь, которую я всегда отмечал при встрече, — по-женски маленькие и очень красивые кисти рук. Он любил и умел красиво одеваться. Обожаёл английские твидовые кепи, светлые плащи и лёгкие куртки. Много курил и очень любил выпить. Мы провели с ним несколько хороших вечеров, когда нас по второму разу познакомил общий добрый друг. Он душевно страдал, что не может вволю напиться, и радовался, как ребёнок, когда Татьяна Бутрова (строгий фанат) разрешала ему несколько лишнего рюмочек. Старый корпус Дома творчества, всё завалено жёлтыми листьями или непролазными снегами. Мы приходили к нему грустными вечерами, когда быстро темнеет, с бутылкой крымского вина. В 50-м номере умещалось два диванчика у стен, оставлявших узкий проход к двум письменным столам у окна. Мы видели человека в конце пути, одинокого и немощного, но не могу сказать, что ему было неловко за своё положение, за то, что мы не видим золотых отсветов былой славы, драматургических дивидендов. Мы, собственно говоря, были никто, и ему хорошо было с нами. По лёгкому стариковскому опьянению мне представлялось, как весело жарко и дурашливо он бывал в свои молодые годы.

Слово «стариковский», однако, не совсем подходит к этому человеку — он всегда был современен, в нём не было распылчатости, забывчивости, старческой обидчивости. Когда-то



ОЧЕРК

## ФАРИД НАГИМ

# «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

(ДРАМАТУРГИЯ ПО М.М. РОЩИНУ)

ФАРИД НАГИМ — прозаик, драматург. Родился в 1970 году в деревне Буранное Оренбургской области, служил в Советской армии, окончил Литературный институт. Пьесы шли в театрах Германии, Швеции, Польши. Руководитель семинара очерка в Литературном институте.

драматурги-руководители «Новой драмы» Угаров и Гремина опасались показывать ему шокирующую пьесу Василия Сигарева «Пластинин», а он её очень высоко оценил, старался помогать этому автору, приглашал его на все свои семинары и сожалел, если Василий не мог приехать. Меня, например, он бесплатно взял на свой факультет в Центре обучения, организованном при финансовой поддержке друга — драматурга Михаила Шatroва. На некоторых моих рукописях осталось его факсимиле: «Наивно. Таантливо. М.Р.». Или записка в редакцию: «Ребята, прошу по возможности рассмотреть и опубликовать талантливую пьесу "День белого отца"» (пьеса, правда, называлась «День Белого цветка»). Он умеренно оценивал мои творения, писал на них добрые отзывы и рекомендации, а я потом выслушивал унылые отповеди унылых, присыпанных перхотью людей из редакций журналов и театральных литчастей, заранее знающих свои оценки. В чём-то эти люди были очень правы, конечно.

В новейшей «драматургическо-театральной мафии» Роштин исполнял всё же роль свадебного генерала. Он легко шёл на общение с «молодёжкой», бескорыстно делился фамилией-брендом, подписывался под разными проектами. Его уважали «новые люди», а ему они были смешны.

Лишь вначале можно было порадоваться возможностям, открывшимся перед ними, позавидовать их свободе, их «правде жизни». Все ожидания «нового художественного слова» и особое «не московское знание жизни» плавно стекли в подвал «Театра DOC» с какой-то засланной английской системой, в театр «Практика» и другие «подвальные» театры и театрики.

Несколько раз я видел его по телевизору на различных тусовках — он торчал там, как седая скала посреди розанчиков; втягивал голову в плечи и высокомерно осматривался, топорща воротник пиджака, чувствовалось, что он уже не отсюда, что многое его раздражает и он готов долбануть палкой по назойливой камере. Я обратил внимание, что на этих мероприятиях вокруг него, опершегося на свою трость, всегда было пустое пространство, пустые стулья рядом.

Предполагаю, что Роштин как трезвый и суровый человек так же трезво оценивал и своё

творчество, говорил о нём скупно, но чувствовалось, что всенародная слава «Валентины» и «Старого Нового года» ему льстит, и он как бы согласился со всем миром, что это его шедевры. Он восхищался Вампиловым и, как ни странно, любил Теннесси Уильямса, с которым даже встречался в Америке, вусмерть упоив его грузинской чаёй. Эту чачу (крепкий, мужской её вариант) ему подарил грузинский писатель в Доме творчества, узнав, что Миша летит в Америку. Роштин со стеснением и некоторой робостью предложил напиток Уильямсу. Тот понохал и воскликнул: «О! Так это то самое, что делал мой дедушка!» Кто из них соврал, не знаю. А может быть, так оно и было.

Михаил Михайлович любил приводить семинаристам в пример Эдварда Олби, который показывал своим ученикам белый лист бумаги и со словами «вот что такое драма» переворачивал его абсолютно чёрной стороной — и наоборот. Нравилось ему и то, что Олби был сам себе режиссёр, имел свою труппу.

И ещё мне запомнилась печальная стариковская констатация: «Запад всегда проявляет интерес к пьесам, герои которых заявляют прямым текстом: мы, русские дураки, пьяницы и извращенцы, мы ничего не можем делать, кроме даунов, приходите, пожалуйста, и владейте нами». Я думаю, это та, первая, тайная фамилия недоумевала за свою русскую, роштинскую половинку.

Известный и востребованный драматург, Роштин всегда считал себя прозаиком, настаивал на этом. И в этом насмешливая драма жизни. Всегда так — журналист считает себя писателем, писатель драматургом, драматург режиссёром.

Но такие даются человеку характер и миро-восприятие, с которыми он именно драматург, такая у него складывается жизнь, в которой он видит драму и лишь иногда — прозу.

Этому драматургу повезло с режиссёрами. Имена их всем известны. В постановки Роштин не вмешивался, да и очень уж много их было по всей стране и миру. И всё же он шутил иногда: «Бог знает что, чёрт знает как, остальное — режиссура».

Начало. Продолжение на странице 2 »

## ЗНАЙ НАШИХ

### ТАМБОВСКИЙ ДРАМАТУРГ — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПОКОЛЕНИЕ 21»

Тамбовский молодёжный театр и «Гильдия драматургов» России совместно организовали Международный конкурс пьес для детской, подростковой и молодёжной аудитории «Поколение — 21».

Его финальная часть предусматривала проведение творческой лаборатории: зрителям были представлены семь эскизов спектаклей по пьесам победителей конкурса. Эскиз спектакля — это ещё не готовая постановка, но вполне осязаемая задумка режиссёра по сценическому воплощению драматургического материала.

После каждого показа было публичное обсуждение пьес. Каждый зритель мог выразить свое мнение о драматургическом произведении.

На конкурс прислали 130 пьес, среди которых работы двух авторов из Тамбова. В список финалистов вошли семь драматургов, представляющих Москву, Донецк, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тамбов. В числе лучших тамбовчанин Александр Попов.

Зрителям был представлен эскиз спектакля по его пьесе «Александр и Саманта», режиссёр — актёр ТМТ Александр Демидов.

Александр Попов родился в 1974 году в Мурманской области. С 1992 года проживает в Тамбове. В 2013 году окончил ВГИК по специальности драматург кино, мастерская Ибрагимбекова. Является автором нескольких киносценариев и пьес. Его сценарий полнометражного художественного фильма «Сон» (12+) вошёл в шорт-лист международного конкурса сценариев «Личное дело». В конкурсе участвовало 794 сценария из 19 стран. Пьеса «Кремовое платье с красными пуговицами» номинирована как «Лучшая детская пьеса» на фестивале «Виват, Театр!» в рамках проекта «Лезен-пьеса» (2020).









# ПОРТРЕТ ФОН ДРИЗЕНА

СЕМЁН ЗОЛУТОХИН

Картины художника Леонида Леонидовича Кутушева регулярно экспонировались на самого разного рода выставках, находились в постоянной экспозиции и на хранении в губернской картинной галерее, в образовательных и государственных учреждениях, а равно и в частных коллекциях в России и за рубежом.

На отсутствие славы или денег Кутушев пожаловаться не мог.

Каждая губерния нашей необъятной Родины имела и иметь будет своих героев, как то — знаменитых писателей, учёных, полководцев, государственных деятелей, просветителей, путешественников, художников...

Та губерния, в которой проживал и трудился Леонид Леонидович, как и многие губернии, могла похвалиться своими известными земляками.

Одной из этих знаменитостей был барон Вильгельм — Юлиан — Карл фон Дризен, звавшийся на русский манер Юлианом Карловичем, потомок рыцарей-меченосцев, род которых давно уже обрусел. Фон Дризен являлся талантливым художником, жившим в конце девятнадцатого — начале двадцатого века и работавшим в разных жанрах — он писал портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, мистические композиции...

Творчество барона можно было отнести к неоромантизму с некоторыми нотами классицизма.

Его тонкая, изящная манера, неожиданные, порой даже несколько странные решения, гармонические сочетания, ненавязчивая колористика уже при его жизни снискали ему известность, сотни и сотни поклонников и поклонниц в России и за границей любили и боготворили его.

Несмотря на то, что барон принадлежал к классической остзейской аристократии, детство и раннюю юность он провёл в крайней бедности из-за того, что отец его совершенно разорился, промотав и растратив состояние своё на скакунов и дам-каamelий. Мальчик вырос сиротой при живых родителях, которые рано развёхались и предоставили себя самим себе. Эта свобода друг от друга и друг для друга привела к тому, что ребёнок воспитывался у бабушки и к тому же почти на медные гроши, так как старушка была бедна и жила на скудный пенсioen.

В мальчике рано пробудился талант живописца, он оказывал явные к тому успехи и довольно скоро, постигая искусства и науки, участь с радостью и желанием, окончил Императорскую академию художеств. О нём заговорили, особенно после получения им золотой медали и поездки в Италию, и его картины стали не только известны, но и любимы публикою, цены на них подскочили, их стали покупать — и даже великие князья, а также император...

Особенную славу барону принесла картина «Испанский танец» — изображение танцующих юных испанок около одного из мадридских фонтанов.

Издававший нужду в юности, имея уязвлённую гордость, фон Дризен был скромным и закрытым человеком, ровным в общении и доброжелательным к разным членам общества, независимо от их происхождения. Он поражал собеседников оригинальным образом мыслей, удивлял высокой образovanностью, пленял милой сердцам приветливостью. К тому же барон был человеком, умеющим не расточать, а приумножать, его рачительности даже завидовали. Он выкупил имение своей матери Знаменское (она была из рода Беклемишевых), находящееся в Т-ской губернии, посреди глухих степей и чернозёмных полей, освободил его от долгов, приввёл в образцовый порядок и каждый год отправлялся туда весной — в пору цветения сирени, коей там было множество, и жил там и творил до глубокой осени, после чего уезжал в Санкт-Петербург.

Буйное цветение знаменской сирени всецело завладело душой барона, он создал множество замечательнейших картин, где сирень стала главной темой, его сиреневые букеты и сиреневые аллеи танцевали какими-то странные танцы, немного похожие на менуэты или гавоты и в то же время напоминавшие движения будущего.

Пришёл октябрь 1917 года, Знаменское сгорело, сиреневые аллеи были уничтожены восставшим народом, а сам барон вместе с супругой и двумя маленькими дочерьми бежал — в Петроград, а потом через Стокгольм — в Париж, и далее — в Северо-Американские Соединённые Штаты. В Европе и Америке его помнили и любили. Он очень скоро восстановил своё положение — в иерархии мастеров кисти, и в иерархии имущественной. Картины его активно раскупались — но теперь уже не великими князьями, а нуворишами, коих много появилось после Великой войны. С собой в эмиграцию барон вывез только одну картину — «Испанский танец», её купил старик Рокфеллер за баснословную сумму, этого хватило на безбедную жизнь на швейцарской вилле.

В Советской России имя фон Дризен было предано забвению. О нём вспомнили лишь тогда, когда началась Отечественная война. Барон перевёл на дело обороны СССР огромные суммы, что было несколько странно для убеждённого антикоммуниста. С тех пор о нём стали говорить и даже писать, издали монографию о его творчестве и альбом, а лет через тридцать начали создавать музей художника — в заброшенном дотеле Знаменском. Долгое время, почти что со дня открытия музея, его директором и хранителем был Алексей Алексеевич Пермяков, одинокий холостяк, для которого история фон Дризен и его творчество стали собственной жизнью и судьбой.

Барон являлся любимым художником Леонида Леонидовича Кутушева. Последний, сам по натуре мистический лирик, видел в творчестве барона зарю нового русского искусства, трагически оборванную революцией.

Леонид Леонидович часто говорил, обращаясь к коллегам:

— Фон Дризен и Борисов-Мусатов... вот на кого нужно ориентироваться в творчестве в поисках Вечной Красоты.

Кутушев был верен этому мнению как в молодые годы, так и много позднее. В советские времена многие не понимали этих слов Леонида Леонидовича и возражали ему с издёвкой, утверждая, что во время больших задач, во время строительства социализма, создания БАМа и неусыпной борьбы с оголтелым империализмом, с провокациями американской правящей клики в Никарагуа и Сальвадоре он, Кутушев, находится под влиянием буржуазных художников-упадочников, которых Великий Октябрь отбросил на обочину истории культуры. При этом некоторые псевдоборохоты с ядовитыми улыбками добавляли:

— Вы, товарищ Кутушев, никак не можете забыть о княжеском происхождении своих предков! Всё Вас тянет в стан безыдейников. А от них до врагов Советской власти — один шаг!

Однако серьёзных последствий для Леонида Леонидовича его скромные высказывания не имели, времена были уже вполне вегетарианские. Устраняясь от социалистической действительности с её промышленной и патриотической тематикой, он, что называется, «брал» иным — лиризмом своих работ.

Тихие, как бы слегка потусторонние пейзажи родной природы, дворцы ветшающих городских особняков, где сушится белеё и бегают детвора, задумчивые франтихи за столиками комсомольских кафе — это были его темы.

С падением власти большевиков в 1917 году Кутушев, что называется, осмелел. Конечно, он-то всегда помнил, что является потомком князей Кутушевых. Будучи не совсем нечестнолюбивым человеком, с приходом новых времён он заказал в губернской типографии новые визитные карточки, где было напечатано чёрным по белому — князь Леонид Леонидович Кутушев... Ему нравилась эта идея, он уверял себя, что в этом он следует Пушкину, который писал где-то, что в России поэты — сами аристократы...

На переломе эпох тематика и палитра Леонида Леонидовича претерпели некие изменения. Он обратился к темам, ранее бывшим для него запретными, — стал писать задумчивых ангелов с лютнями и мандолинами и гневных архангелов с трубами и мечами, а также множество поверженных над снежными полями Отчизны чёрных демонов, хоры почти бестелесных жертв красного террора среди берёзовых рош. Наряду с этими темами очищения и задумчивого возрождения он обратился и к темам античным в преломлении русским — изображал нимф и сатиров среди заброшенных парков разгромленных дворянских усадеб, статуи богов и героев, выглядывающих из развалин или скрытых в густом кустарнике. Как ему самому почему-то казалось, в этом он следовал за фон Дризенном.

Однажды Кутушеву протелефонировали, он поднёс трубку к уху — приятный с некими плотоядными интонациями дамский голос произнес:

— Добрый день! Я говорю с Леонидом Леонидовичем Кутушевым?

— Да, это я...

— Как приятно! Какой у Вас сильный, очень уверенный, твёрдый голос...

— Что Вам угодно, сударыня? — ответил Кутушев, слегка раздражаясь интимным тоном дамы.

— Позвольте представиться: Панафидина Аглая Александровна, директор музея-усадьбы фон Дризен.

«Ах, это та самая Панафидина, ставленница губернского министра культуры, за что поставлена — понятно...» — подумал Леонид Леонидович.

— Очень приятно, Аглая Александровна. Чем могу служить?

— Видите ли, после ухода из жизни Пермякова я разгребая его дела.

«Ах, разгребашь...» — подумал Кутушев.



Фото Олега Самарина

— Разгребая его дела, — продолжала Аглая Александровна. — И, знаете, нашла в его записях сведения о том, что он планировал заказать Вам портрет фон Дризен.

На мгновение Кутушев даже оторопел. Недавно ушедший из жизни Пермяков не очень-то благоволил к Кутушеву, выражаясь о нём за глаза — «отпрыск».

Но и Леонид Леонидович тоже не особенно жаловал Пермякова, называя его иногда про себя «любимая сволочь», но ценя, ибо только на нём и держалось дело возрождения усадеб.

— Да, да, Аглая...

— Александровна, — голос уверенно подбодрил его.

— Я готов исполнить заказ и даже начну сегодня же, ведь фон Дризен — мой любимый художник, почитаемый мастер, и я сделаю это бесплатно.

— Ах, Боже мой, вот и отлично. Нам крайне необходим портрет именно Вашей работы. Вы так любезны, так благородны... Завтра я буду в городе, мы могли бы встретиться в «Кафе де Фёр», обговорить детали...

Вскоре встреча состоялась, детали были обговорены: решено было написать барона в полный рост с тростью в руке, прогуливающегося по одной из сиреневых аллей Знаменского.

Аглая Александровна оказалась дамой с высоким бюстом и васильковыми глазами. Смотря на неё, Кутушев растерянно думал о том, что вот она назначена директором музея, что она получила sineкуру как бывшая возлюбленная какого-то бонзы, что она совершенно далека и от живописи, и от культуры вообще...

«Господи, какая дура!» — хотелось ему сказать вслух на её пустую болтовню, но он этого, конечно же, не сказал...

Ровно месяц Леонид Леонидович работал над портретом, по его мнению, он получился великолепным, и он осторожно думал про себя, что, может быть, он и есть истинный «наследник» искусства барона.

Из Знаменского пришла машина, картину забрали, Аглая вновь телефониовала, бурно благодарила, намекала на возможность второй встречи, от чего Кутушев даже расстроился, подумал, что его чёрт дернул провести с прелестницей время.

Три года он не посещал Знаменское, след Аглаи скоро простыл, потом она оказалась на ответственной работе в Пенсионном фонде.

И вновь Леониду Леонидовичу позволили из Знаменского, на этот раз новый директор Трофименко Валерий Владиславович, который просил приехать и выступить перед полным собранием со словом о фон Дризене.

Кутушев с радостью согласился, давно он не был в Знаменском, да и Аглаи уже там не было.

Он сел за руль своей машины, как и барон, владелец одного из первых «Руссо-Балтов», он был хорошим автомобилистом, и поехал в Знаменское.

Накануне ему приснился сон, в котором фон Дризен грозил ему пальцем...

В Знаменском вновь цвела сирень...

Леонид Леонидович вволю нагулялся по аллеям, выступил со словом о фон Дризене, особо всё-таки подчеркнув, что всю жизнь стремился к тому, чтобы стать его преемником.

Кутушева накормили обедом, выделили индивидуального экскурсовода, юную энтузиастку Степаниду, которая провела ему экскурсию по музею. Глядя на ладную степную фигурку Степаниды, Леонид Леонидович думал о том, что её здесь ожидает, — научат пить водку, потом неудачное замужество, развод, злоба...

В завершение экскурсии Степанида подвела Кутушева к портрету барона. Леонид Леонидович уже ожидал сведений о себе и даже славословий в свой адрес.

Однако ожидаемого им торжества не случилось.

— Обратите внимание на прижизненный портрет фон Дризен кисти неизвестного художника, три года назад найденный и приобретённый руководством музея у московских коллекционеров, — сказала Степанида.

— Ах ты, Господи! — невольно вырвалось у Кутушева. — Как же так, Степанида? — Он в растерянности посмотрел на свою спутницу, но через минуту овладел собой. — Неужели подлинник?

— Да, эта работа прекрасно сохранилась с 1917 года, ведь это последний портрет фон Дризен, написанный на Родине, а ведь его портретировали такие мастера, как Репин, Коровин... может быть, это поздний Репин... по-моему, весьма похоже... — Бог мой! Бог мой! — только и мог сказать Леонид Леонидович. Он торопливо вышел на улицу. Степанида бежала за ним, растерянная.

— Вам не понравилась экскурсия, Леонид Леонидович? — спросила девушка с затаённым страхом.

— Что Вы, Стеша, всё преемственно.

Смутив Степаниду, Кутушев поцеловал её руку и пошёл к своему авто.

Он шёл и бормотал про себя:

— Ах ты, Господи! Ах, Аглая! Неужели же глупая месть... Или всё же какой-то рок?

Вернувшись домой, Леонид Леонидович в изнеможении повалился на кровать и сразу же заснул

ОЛЕГ АЛЁШИН

\*\*\*

Тихо, как в сельском музее,  
Старых домов закоулки.  
Снег неглубокий в аллее,  
Жизнь превратилась в прогулки.  
Память хранит все пустое:  
Помнишь? Дожливое лето,  
Шорох каштана, нас – двое.  
Поезд проследовал где-то.  
Сколько неясных предчувствий,  
В поздних ночных отголосках.  
Сколько в любви тихой грусти,  
Чувства твои мягче воска.  
Нет ни души на конечной.  
Списан автобус с маршрута.  
Буду идти я по встречной.  
Небо в предчувствии утра.

\*\*\*

Доволен пустышной затеей,  
Прозулкой себя поразлечь.  
В остафьевской тихой аллее  
Не жду утомительных встреч.  
Чудесно, что здесь я впервые,  
Вдали от стальных городов.  
Жуковского сны золотые  
Дичатся случайных шагов.  
Взывает клинок обелиска  
К вершинам остафьевских лип.  
И кажется прошлое близко,  
Как старого дерева скрип.  
Как хочется в легкой дремоте,  
Забиться под тенью листвы.  
Очнуться в туманной заботе  
И тихо спросить: «Это Вы?»

\*\*\*

Петербург, Ленинград – все равно,  
Кто бы как не назвал этот город.  
Я живу в нем как будто давно  
Ощущая распахнутый холод.  
Ни друзей, ни врагов, ни могил, —  
Ничего не досталось в наследство.  
Только кто-то меня здесь хранил,  
Среди парков, скульптур  
— с малолетства.

Я играл под присмотром дриад,  
В золотой, как казалось, ограде.  
И скульптур беломраморный ряд  
Я запомнил в осенней прохладе.

\*\*\*

Укрывишись под зонтом Басё,  
Переступая листьев ворох,  
Куда же мы с тобой несём  
Дождя неторопливый шорох?

Но как-то тихо стало вдруг,  
Как будто небо онемело...  
— Вот первый снег, — сказал мой друг,  
И зонтик он сложил несмело.

\*\*\*

Сегодня мне не спится что-то,  
Но отчего я не пойму.  
Одна давнишняя забота —  
Уйти достойно одному.  
Вот снег идет. Всё в этом мире  
Свершается помимо нас.  
Стрелялись мальчишки в мундирах  
В такой же предрабсветный час.  
Но я живу, смотрю куда-то  
Сквозь равнодушное стекло.  
Уйдемшему в ночь безвозвратно  
Наверно, в чем-то повезло.

\*\*\*

Галине Андреевой

Люблю от Пушкина до Блока  
Пройтись по Бронной напрямик.  
Почувствовать как одиноко  
Горит в чужом окне ночник.  
И, кажется, нет перемены  
В холодном сумраке двора.  
Не потому ли сокровенны  
Заснеженные вечера?  
Но кем-то, кажется, нарочно  
Зашторено её окно.  
И всё же как-то неумолчно  
Сквозь ветви светится оно.  
Но, может быть, в пустой квартире  
Горит без надобности свет.  
И, может быть, в «подлунном мире»  
Давным-давно хозяйки нет.



# ВСПОЛОХИ ПАМЯТИ



Фото: из открыток истинных

Есть люди с недостатком, всю жизнь им мешающим. Василию Кравченко вредило неснижаемое чувство собственного достоинства и полное отсутствие чувства собственника.

Если ты никому не кланяешься, то и тебе никто не поклонится. Недаром прозвали его Хромой барин.

Позвонила дочь.

— Василий Васильч...

И тягучая пауза. Не хотела говорить, что умер, так дольше иллюзия, что ещё жив, или комок голос пересёк... Продолжения не требовалось. В них закодировалась смерть. Мы иногда под одними словами понимаем совсем разные вещи... Я почему-то ждал этого звонка. Последние дни Кравченко неотступно следовал за мной, будто следил, видимо, вспоминал. Если долго и упорно думать о ком-то, то он обязательно узнает об этом. Наша мысль ненамного слабее мобильного звонка — или сильнее? Если словом можно убить, то

мыслью и уничтожить немудрено. Недаром говорится: слово — серебро, а молчание — золото. Молчание получается дороже, а значит, и сильнее слова. Только вот промолчать, когда надо, мы не умеем и меняем золото на серебро, а то и на медь.

Кравченко звонил нечасто. Проходила неделя, другая, подходил срок, я начинал ждать звонка. Мы долго переходили на короткую ногу. Он любил говорить:

— Тамбовские писатели друг друга не читают, а значит, и не дружат.

Но прочитав моего «Державина», одобрил и включил в список общения. Слабели раз от раза звонки, ощущалось, как утекала из него жизнь. Голос в телефоне всё удалялся и удалялся от этого Света, приближаясь к Тому. Мы не заметили, как значимая, а может, и значительная часть нашей жизни сжалась и уместилась в маленьком дьявольском ящичке Пандоры. Напихали мы туда знакомых, друзей, родных, просто случайных

встречных-поперечных. Удаляем за минованием

надобности. Кто-то вычеркнул меня, кого-то я. Чаше — потому что умер. Кажется, сидят в них наши и дружат ангел-хранитель и чёрт-разрушитель. Не можем без них. Попробуйте забыть телефон дома! Что с нами творится? Будто смысл жизни потерял.

— Вынос тела завтра в зале с одиннадцати до двенадцати.

— В каком зале?

— Мемориальном.

Оказывается, у нас в Тамбове такой имеется. Будто в Риме или Париже. Не проще ли называть скорбным или прощальным? Какие мемории? Раньше так указы назывались. Скудеет язык русский. Раньше труп падалицем называли. Шёл человек по дороге жизни и упал. Умер. Боймися смерти, а засыпать каждую ночь не страшимся. Упадаем в маленькую смерть. Бессонницей мучаемся, не понимая, что это не бессонница, а бессмертие. Вспомнились слова Кравченко:

— Ты пиши, как Бог на душу положит. Не оглядывайся ни на кого и никого не слушай. Творчество — дело персональное, как сапоги или штаны. Они у каждого свои. С чужого плеча всё поношенное и недоношенное.

Текал от него какая-то неизбывная, как заноза, грусть. Он прятал её за недовольной грубозастью. Может быть, он так компенсировал свою недооцененность как творца? Бездарность не терпел, обижал наотмашь. Вот так писать нельзя.

Я спрашивал:

— Василий Васильевич, что такое счастье?

Счастливые люди так же редки, как и талантливые. А талант — это уже счастье. Счастливые — значит, талантливые, и наоборот. Умирает человек, и все начинают вспоминать. Вспоминают не его в себе, а себя в нём. Потому как главное наше качество — равнодушие. Увидел я впервые Кравченко у его единственного друга Александра Акулинина на литературных пятницах. Последние три года он туда не ходил — тяжело было добираться. Болела нога. Травма детства. Или не видел смысла в общении? Все мы приходили в кафе «Кондитерское» к его приятелю Стегачёву. Он был его почитателем и читателем. Захватывались литературные пиры с вкусными блюдами, напитками, рассказами, эссе, стихами, зарисовками, писателями, поэтами, учёными, артистами. Духовная пища поглощалась в реальной совокупности с телесной.

Приглашал он на эти пиры лично, и я скоро понял, что это значило признание литературной значимости. Некое посвящение в узкий круг: литмолодёжь хвалилась — а меня Кравченко пригласил. Потом я понял — всем молодым литераторам, кого он приглашал, потом выдавалась рекомендация в члены Союза писателей

России. Это был его литактив.

Жалость к умершему писателю ныла занозой, горло пересёк комок. В голове вертелись мысли о смерти. Василий Васильевич мало с кем сходил. Человеком был застёгнутым, но приветливым, хоть и не добряк. Его тихоголосное малословие восполнялось. В глазах и словах иногда вспыхивал промельк страдания. Строгая его доброта была не мелочная, не мельтешащая, несуетливая, несуетная. Душу распахнул он неожиданно в «Всполохах». Обнажил — нежную, как у речной ракушки. Я нырнул в её бездну мыслей и образов. Из «Всполохов» понял я — счастье было у них одно на двоих, не стало одного, не стало и счастья у другого. Василий Васильевич не смог жить без Маргариты Борисовны. С её уходом лицо писателя утратило последние следы. С уходом Маргариты Борисовны умерла и его любовь к жизни, стало не с кем, незачем, нечем, не с чем жить. Но жизненная мужская сила была в нём столь велика, что он преображался, блестящие глаза при виде красивой женщины. Я никогда не видел его лежащим. Даже в больнице. А тут в гробу лежит — и нос горбинкой. Почему-то у покойников, даже курносых, нос становится, как у Мефистофеля? Священник, забыв имя раба Божьего, заглянул под крышку медного кадила — видимо, там тайлся список отпеваемых сегодня — и прогнусавил:

— Раба Божьего Василия...

Всех-то не упомянешь! Под заношенной епитрахилью зазвонил мобильник. Служитель прервал священнодействие и долго доставал его из глубин рясы, а он всё надрывался мелодией из песни «Всё ещё впереди, всё ещё впереди...» Мне показалось, что от такого оптимизма в гулком зале, напитанном смертью, Василий Васильевич и тот вздрогнул. Пришедшие проводить писателя в последний путь внимательно слушали телефонный монолог попа. Когда он закончился, священник неторопко и важно упаковал телефон в кожаный чехол и спрятал в карман. Напрашивался образ из песни — «одинокый мужичок за пятьдесят, неухоженный...» Откуда-то запахло горелым мясом, наверно, из столовой, и, глядя на гроб с телом человека, сопровождавшего меня по жизни последние пятнадцать лет, мне стало жутко. Голубой гроб представился мне последним спальным вагоном, в котором писатель Кравченко уезжал, а мы все провожали его в последний путь до могилы, значит, и город должен называться Могилёв.

До зябкости в спине не захотелось туда. Могилы — от слова «мочь»? Успокий уже ничего не может — ни писАть, ни йИсать. Священник, спрятав мобильник, продолжал невнятно бормотать, часто повторяя слово «Аминь». Заслышав

его, присутствующие начинали истово креститься. В углу, к ужасу моему, я увидел другого покойника. Дерзко торчали ступни в белых шелковых тапочках. Получается, что и его тоже отпевали заодно? Или он ждал своей очереди? Повезло дважды причаститься в Святым Тайнам.

Сзади прозвучал голос:

— В больнице Святого Луки морт на ремонте, вот сюда всех и свозят.

Траурный митинг возник сам собой. Сначала брали слово те, кому было положено, и те, кому неумоготу молчать. В таких случаях говорят одно и то же. Жаль, что Кравченко не услышал столько приятных и лестных слов. «Выдающийся... талант... классик... его проза была поэзией... неопенимый вклад... останется вечно...» Кто-то перепутал, назвав его роман «Графский наследник» «На графских развалинах». Я порывался, но каждый раз меня кто-то опережал, и стало очевидно: не надо никаких слов. Они ходоулыны и протоколыны. Да и нужны не ему, а нам. Он же не слышит. На середине зала вышел небритый боец из похоронного спецназа и провёл инструктаж.

— Сначала прощаются родные. Потом все прочие. В голову гроб не обходить, только через ноги. Примета плохая.

Стало ясно, этот могилыщик — философ по жизни и добродетель по призванию. Может, Шекспира начитался? Все потянулось к выходу, отдавая чистенькой бабурке горящие тонкие свечки в проткнутых бумажках. Сменяются поколения, а старушки всё те же. Бессмертные. На кладбище рыжая глина от разверстой могилы засыпала соседнюю плиту, на которой угадывалось «Кравченко Маргарита Борисовна», и почудилось — она еле заметно прикрыла глаза, давая понять: «Мы опять вместе». Поминки в кафе «Сказка» начались с облегчения: кончилась невыносимо тяжкая тягота — хоронить дорогого человека. Дочь Виктория, терзая платком глаза, сказала:

— Папа просил поминуть его именно здесь и обязательно, чтобы скрипка. Он её очень любил.

Маленький инструмент стонал, ныл, тосковал, плакал по Василию Васильевичу, и мы вместе с ним. Совсем недавно в этом зале звенело его семидесятипятелетие и звучали тосты: дожить до ста лет. Звенели бокалы. Никто не чокался. На душе полегало, легче чем в траурном зале и на кладбище. Кто придумал слово кладбище? Склад человеческих тел, отслуживших свой век? Каждая могила — клад бесценный. Как оценить место, где покоятся твои мать и отец? А есть ли склад людских душ? Говорят, их Господь раз в год на общие собрания приглашает. Дома я снял с полки «Лицедеев» и пообщался с Кравченко, живым и талантливым.

ЕЛЕНА НАЙМУШИНА

# НЕЗАМЫСЛОВАТАЯ ИСТОРИЯ

1. Зима после осени шла по привычке: нановогодила снег, прихватив Рождество, и вдруг оступилась, пролилась дождём и замерла. Каждый день небо серое, клочкастое, только в рассвет на горизонте — тонкие ослепительные бело-лимонные полосы сияния. От пыльной земли веет стылостью, кажется, что твердь промёрзла до самой середины.

Даша смотрела из окна вагона на бегущую то-скливу серость неба. Она загадала — как только увидит снег, Андрей ей позвонит. Они опять поссорились. Он домосед, поездка его раздражает.

— Дашунь, зачем куда-то тащиться? Пусть твоя подруга к нам приедет.

— Андрей, там у Руфы снежные горы. Понимаешь, настоящая зима. И это её день рождения, и наверняка что-то интересное происходит. Ты же знаешь, какая она!

— Вот именно, что знаю. Руфа, конечно, умница-красавица, но жизни спокойной не ищет.

— Да она открытый, любящий человек, доверчивый. И мне всегда помогала. Андрюш, пожалуйста, не дуйся, я через три дня вернусь.

Он всё равно рассердился и не пошёл провожать её на вокзал. Она огорчилась, но знала — остынет, простит.

Даша и Андрей уже были женаты, когда познакомились с Руфиной, матерью двух девочек. Работая вместе, молодые женщины сошлись на нелюбви к сплетням, а выговориться о наблевшем иногда так необходимо. У Андрея были друзья ещё со школы, и он не вмешивался в девичьи разговоры, только подшучивал над ними.

Руфина — невысокая, ладная, тёмно-русые волосы, синие глаза, чуть расширенные скулы, доставшиеся ей от отца татарина, не портили красивого лица, а лишь придавали ему особенность. Всегда скромно, но со вкусом одетая, она сразу понравилась Даше.

Дарья — хрупкая, светловолосая, с глазами голубыми от солнца или серыми в пасмурный день, угловатостью движения и привычкой сутулиться — казалась старшескласницей.

Даша и Андрей жили вместе с матерью Андрея, женщиной вздорной, считавшей сына своей собственностью, а сноху — недоразумением. Дашка пыталась подстроиться, но терпения не хватало. Свежров тут же напоминала, что они в её доме и кто тут «хозяин и барин». Скандалов Даша не переносила, чувствовала внутреннюю

дрожь и опустошение, хотелось забиться в угол, покрыться пылью, обрести паутины и стать частью интерьера — она плелась к Руфе и просила жила у неё бездумно до позднего вечера. Руфа наливала чай, намазывала батон вареньем, развлекала разговором или занималась с детьми, но никогда не гнала Дашу, даже наёмком. Андрей окрестил её Дашкиным ангелом-хранителем, не сознавая, насколько был прав, ведь именно откровения Руфы помогали Даше вытаскивать себя из безразличия, помогали оживать, устыдившись своих мелких обид.

2. Окончив школу, Руфина, полная решимости вести самостоятельную жизнь, подалась в столицу. Московские родственники помогли устроиться на работу в почтовом отделении. Она гордилась, что может сама зарабатывать, старалась.

К привлекательной юной девушке мужчины проявляли интерес. Руфина рдела румянцем, отказывая во взаимности. Но как всякая восемнадцатилетняя девушка, не устояла, влюбилась по уши в красивого, самоуверенного студента. Он назначал ей свидания. Бродили по московским улицам, ходили в кино, музеи. Почти полгода безмятежности, и Руфа отдала себя полностью, без сомнения. Доверилась. Когда осознала, что беременна, обрадовалась, поспешила поделиться. Его ответ ошеломил: «Я не хочу детей. С ними маята, мне свободно жить хочется. Никогда и ни за что. Поняла?»

Ничегошеньки она тогда не поняла, жила дальше по инерции, работала и ждала, что вернётся. Ушла в декрет, родила девочку. Домой, к родителям, вернуться не могла. Несмотря на слёзы матери Руфы, отец запретил дочери показываться на пороге.

По словам Руфы, ей неслыханно повезло, нашла работу сиделкой. Согласились взять с ребёнком. Себя жалеть было некогда. Старушка неходячая, да и мало что понимала, дочка плакала по ночам. Обоих надо кормить, мыть, обстирывать, убирать квартиру. Утешало Руфу доброе отношение сына старой женщины. Строгий, немногословный человек, он всегда был вежлив, хвалил её. Иногда приходил вместе с сыном, ровесником Руфы, парнем тихим и скромным. Оглядевшись и похлопотав около матушки, так он сам называл старушку, строго говорил сыну: «Вот, Пашка, смотри, какую жену надо выбирать. Равный на Руфину». Паша молча кивал, не перечил отцу. А

однажды признался, что Руфа ему очень-очень нравится. И как ей было не откликнуться любовью или безграничной благодарностью, она сама не поняла, что тогда чувствовала.

Зажили семьей, обычными заботами без страстей. Бедная старушка тихо закончила свой земной путь. Проводили, дальше жили. Руфа опять забеременела. Скромник Паша удивился и заявил, что этого не может быть. Не его это. Руфа оскорбилась, не могла понять, за что он так с ней, в возмущении кинулась было к отцу Павла поплакаться, но не к месту выгнала гордость, а следом пришла и ясность: «Не верит мне, раз в девках родила. Сама виновата». Рядом захныкала дочь, просясь на руки. Руфа подняла её, прижала к себе. Необходимость заботиться о дочери и возникшее протестное упрямство родить второго ребёнка подтолкнули к действию. Повинилась во всём матери.

Возвращалась Руфина домой с неподъёмным багажом — страхом осуждения.

3. Руфина семья жила на старой улице города. Дом был из бывших купеческих, одноэтажных, разделённый на три квартиры, каждая с отдельным входом. Мать, отец и брат Руфы имели две небольшие комнаты с прихожей, она же кухня. Чтобы не стеснять родню, Руфа с дочерью поселилась в деревянной пристройке к дому, выходящей во двор.

Дверь жилища открывалась сразу на улицу, но плотно прикрывалась, не сквозила, изнутри была обита меховой шкурой уже непонятно какого зверя. Печь, стоящая у одной стены, хорошо прогревала, если правильно растопить. Потолок низкий, рукой достать. Туалет, как для всех в доме, на улице. За углом дома — колонка с водой. В соседнем квартале — баня. В этой комнате появилась на свет младшая дочь Руфы.

4. Даша вспоминала недавнее безарплатное время. Как непросто им с Андреем было растить сына, а Руфине с двумя дочерьми куда сложнее пришлось. Отец Руфу долго не мог простить, но на внучек её вины не перекладывал. А потом свылся, видя её старание, и она смогла заочно окончить институт, но пришлось перебраться в другой город, где предложил работу.

Электричка замедлила ход, подбегая к станции. Даша увидела падающие снежинки. Не



РАССКАЗ

выдержала, позвонила сама:

— Андрей, я уже подъезжаю, здесь и правда снег идёт. Ой, вон Руфа стоит. Всё хорошо, не волнуйся. Поцелуй Димку.

Он буркнул:

— Хорошо. Руфе привет.

Дашка выскочила из вагона прямо в Руфины объятия. Рассмеялись.

Руфа, взяв Дашину сумку, сказала:

— Пойдём пешком, тут недалеко. Даш, завтра приезжает Пашка, ну, отец моей младшей.

— Что? — Дашка замерла.

— Да не стой ты, а то снегом завалил. Понимаешь, она как заноза пристала, мол, я имею право знать, кто мой отец. Как я не хотела, вцепилась. Пришлось сказать. Так она его отыскала, а он признал её. Ещё бы, что фас, что профиль — готовый родовой портрет. Ну и старшая следом. И ведь тоже нашла, и тот признал. Мои вертховостки уже успели встретиться

со своими отцами. А те удочерить решили. Вот Пашка едет.

Даша даже задохнулась от такой новости, с трудом выдохнула:

— Да как же они жили? А первый твой что, тоже приедет?

— Мой первый мне розы прислал аж в два метра высотой, эквадорские, кажется. Приехать грозился. Девоч моих подарками завалили. Видишь ли, у них до сих пор других детей так и не случилось.

Дашкой вдруг овладел восторг:

— Руфа, это ведь так... грандиозно! Так... — она не находила слов.

А Руфина очень спокойно ответила:

— Знаешь, а мне уже всё равно. Так всё равно, что даже тошно.

Даша осеклась, мгновенно осознав тоску Руфы. До дома шли молча.

Женское счастье — серый воробушек.



ВЛАДИМИР САМОРОДОВ

Владимир Борисович, пойдёте, все уже ждут в зале заседаний, — сообщила помощница районного судьи Таня, приоткрыв дверь судейского кабинета, держа в руках диктофон и небольшую кипу бумаг.

— Сейчас распечатаю и иду.

В тихом зале судебных заседаний было по-обыденному тревожно, участники процесса и подсудимый ожидали правосудия.

Зашла секретарь и за ней судья в длинной чёрной мантии, с листами бумаги.

Секретарь встала за стол и нажала на кнопку диктофона, засветился красненький огонёк. Она кивнула смотрящему на неё судье.

— Всем встать, оглашается приговор. Суд приговорил... — далее следовал нудный голос, зачитывающий юридический текст, похожий на тривиальный роман с драматическим финалом. Приговоры почти одинаковые, как и пороки, а люди разные: кто рыжий, кто блондин, кто с высшим образованием, а кто без, буйные, тихие. «Это даже хорошо, что приговоры одинаковые, меньше в шаблоне на компьютере исправлять, — думал про себя Владимир Борисович и как-то побаивался этой мысли, — ведь так легко ошибиться». Вспоминал про случаи с коллегой, который неправильно рассчитал рецидив преступлений и добавил пареньку лишних два года. Хорошо, что адвокат тогда обжаловал приговор. Владимир Борисович часто рассматривал дела по неуплате алиментов, насильственные против половой неприкосновенности, убийства. Это была его ниша. «Что дают, то и рассматриваем», — отвечал он на возмущения Танечки очередному переданному делу. «Сколько же этих насильников, убийц, неплательщиков алиментов!» — восклицала она. Всем им было заказано государством правосудие. График судебных заседаний у Владимира Борисовича был плотный, каждое дело расписано: отведено по полчаса, если сложное — час. А ещё надо отписывать — скидывать, нельзя копить и медлить. Выникать в тревоги и чаяния подсудимых было некогда.

В суде за глаза уважительно подшучивали, что Владимиру Борисовичу при вступлении в должность судьи не пришлось даже менять фотографию на рабочем столе: на ней были отец с мамой и он с братом, ещё маленькие. Отец, выйдя в отставку, вышел из кабинета, а через месяц туда пришёл он. Отец тогда сказал, что кабинет хороший, он в нём досидел до пенсии. Владимир Борисович сделал небольшую перестановку, искусственные большие цветы с окна отдал судебным приставам в коридор, стол пододвинул поближе к окну, из которого открывался вид на центр города с красивым храмом и высокой колокольней за ним. Когда он дежурил по праздникам, можно было смотреть на разные гуляния: всё лучше, чем на обшитые пластиком стены кабинета и угловые диваны. Окно, хоть и с решёткой, оживляло в нём воспоминания, дарило фантазии. Особенно ему нравилось вечером смотреть на улицу. Он провожал взглядом спешащих с работы людей, движущиеся машины; зажигались городские огни, а надо всем этим возвышался подсвеченный крест колокольни.

Родители его отдали на юридический факультет, хотя он неплохо играл на пианино и пел, окончил музыкальную школу. Когда он в детстве заходил в суд и видел отца в длинной чёрной мантии, ему казалось, что папа у себя в кабинете сочиняет песни, записывает на бумаге и потом озвучивает в соседнем кабинете. Когда он оставался в папином рабочем кабинете, то слышал, как за стеной в большом зале он читал написанное так монотонно, быстро и с напевными строгими интонациями, как читали и пели в храмах, где он бывал с мамой. Ему казалось, что это особенная музыка, такая странная, нудная, но очень важная и проникновенная.

— Пап, а что ты там делаешь?  
— Я восстанавливал справедливость.  
— А как это?  
— Это ты обязательно узнаешь, когда подрастёшь, — отец подходил к окну и закуривал сигарету, снимал чёрную мантию и вешал её в шкаф, сидел, молчал, потом они шли домой. Часто уже было поздно, и с отцом почтено прощались одинокие судебные приставы, не забывая подмигивать мальчику.

Его мантия и сейчас висела в шкафу. Отец просто не стал забирать, оставил её почему-то. Она и сейчас казалась такой большой, как тогда, в детстве.

— Владимир Борисович, пойдёте, по краже из магазина все собрались.

— Иду, — ответил он устало. Сегодня ещё три судебных заседания предстояло провести, и никуда не деться, нужно судить. Каждый день судить. Вдруг он спросил у помощницы, уже закрывающей дверь:

— Таня, а вы не помните, от Ивина не приходили письма? Что-то давно не сообщали.

— Уже год как тишина, раньше всегда на все праздники письма обязательно приходили, докладывали, все подшивали в дело, как Вы и говорили.

— Понятно, — Владимир Борисович задумался. Он порой не успевал читать все материалы уголовных дел, которые рассматривал, а на эти письма осуждённого совершенно не было времени. Но сам их факт вносил какую-то неформальную жизнь в судебную рутинную работу. Каждый день в суд поступали письма с требованиями, ходатайствами, прошениями, жалобами, а поздравительные, ни к чему не обязывающие, с простыми добрыми словами — почти никогда.

Помощница Таня стояла и ждала указаний.

# ГЛАЗА



— Идите, я сейчас подойду, — произнес Владимир Борисович, и Таня опять хотела закрыть дверь. — А хотя посмотрите его дело в архиве, мне надо кое-что посмотреть, проверить то есть, — сдерживая взволнованность, добавил он.

— Хорошо, Владимир Борисович, но только к вечеру, после процессов. Дело давнишнее, надо поднять из архива.

— Принесите тогда мне, положите на стол.

Вечером дело Ивина лежало у Владимира Борисовича на столе — обычная грязноватая, ничем не отличающаяся от других папка. Уже прошло больше пяти лет, как он осудил этого человека, и должен был забыть о нём, ведь после него было уже столько дел, людей, судеб. Но он помнил это дело, бывшее одним из первых в его судебной практике. Как только он заступил на должность судьи, ему распределили это дело «художника-педофила», как его сразу прозвали в суде. Ему было бы легче забыть его, если бы осуждённый не писал письма в суд из колонии с различными поздравлениями, наивными пожеланиями и рисунками, на которые никто из-за занятости не обращал внимания. Ему же было некогда их читать, и он просил Танечку по инструкции подшивать всё в материалы дела и смотреть, если поступит жалоба: на неё нужно было дать ответ. Жалоб не было, он даже не обжаловал свой приговор тогда, не использовал последний шанс.

Он вообще был, как говорят в суде, смиренный: уже пожилой, седой мужчина говорил, что не виновен, что первоначальные показания дал под диктовку, его запугали сотрудники следственного комитета. Его же молодая жена активно давала показания в суде и говорила, что он оказался извращенцем и нанёс психологическую травму её несовершеннолетней дочери и она вынуждена была сообщить о преступлении. Говорила всё какими-то заученными фразами из интернета о «недопустимости насилия и извращения», о «здоровых семьях», судьбе страны и т.д. Иных показаний не было: его слова против её слов и письменные сбивчивые показания её родной, а его приёмной дочери, оглашённые в суде.

Владимир Борисович смотрел на это дело, которое лежало сейчас на столе, и вспоминал всё, все подробности и интонации подсудимого, прокурора, адвоката. Вспоминал себя. Он не верил в виновность подсудимого, но и не был уверен в невиновности. В Академии права учили, что в таких ситуациях оправдывают. Тогда это казалось так просто и логично — ведь есть неустранимые сомнения виновности человека.

Он вспоминал, как заехал перед приговором к отцу посоветоваться, разговор предстал в памяти.

— Понимаешь, у них мотив есть его оговаривать, он уже пожилой человек, ему это зачем?

У него есть дача и квартира, достались по наследству от родителей и в случае его смерти пойдут жене и приёмной дочери, у него никого больше из родни нет. Он ранее не судим, и никаких доказательств нет, кроме слов жены и дочери, даже дочери только письменные показания, в суде не опрашивалась во избежание психологической травмы.

— А сколько ей лет? — спросил отец.  
— Двенадцать, матери сорок три, ему шестьдесят вроде.

— Понятно, а экспертиза что?  
— У него отклонения небольшие выявили, но это ни о чём, там не обнаружена конкретная тяга к несовершеннолетним. Психически признан вменяемым.

— И больше ничего, из соседей, знакомых что видели? Адвокат что?

— Нет, ничего. Адвокат приложил справку о сахарном диабете и несколько дипломов за уча-

стие в художественных выставках — и всё. Он по назначению у него. Я не уверен в его виновности. Да, он, может, и не совсем нормальный, как творческий человек, но зачем ему в шестьдесят лет лезть к падчерице? Не понимаю, глупость какая-то. Он ещё в первоначальных показаниях подтвердил якобы факт домогательств, но потом сказал, что его уговорили сотрудники, сказали, чтоб подписал, и тогда домой отпустят, ничего не будет, а в противном случае — арест. Он и подписал. К тому же он импотент, есть заключение судмедэкспертизы, а в тех первоначальных показаниях было написано, что был сильно возбуждён. Как это понимать? Это явные противоречия.

— Понятно, импотент не импотент, ему же не изнасилование вменяют, а развратные действия, мог и просто поприставать. Что у него там в голове? Тем более художник. Так что разницы здесь нет, — проговорил отец, смотря на растерянного сына. — А прокурор что? — добавил он, показывая свою заинтересованность в деле и небезразличие, но как-то устало, зная ответ.

— Считает вину полностью доказанной, запросил тринадцать лет строгого.

— Понятно. Понимаешь, ты, конечно, можешь поступать, как знаешь, но эти дела специфичные, в большинстве и не бывает свидетелей прямых. Это же дома всё происходит: кто знает, что они там делают? Нет, можешь и оправдать, но долго с таким подходом к делу не протянешь, пойдёшь потом адвокатом работать или ещё хуже... А оправдательный приговор, скорее всего, отменят по жалобе прокуратуры. Ты судья молодой, доказательства виновности какие-никакие, а есть. Так что либо его осудишь ты сейчас, либо его осудят потом, после отмены твоего приговора, понимаешь? Система так устроена, надо её чувствовать, но это со временем придёт, вот что я могу тебе сказать. А твоё внутреннее убеждение может быть и обманчивым, тут не сердцем надо решать, а разумом. Прямых доказательств, что он этого не делал, нет.

— Но ведь...

— Послушай, выноси приговор, пусть посидит, там тоже люди живут. Дай ему минимумку по этой статье, там вроде нижний порог лет девять или десять, и забудь про это дело. Я раньше если видел, что человек может быть невиновен, поменьше давал, минимумку по закону. И что ты к нему прицепился-то, к этому педофилу? — сморщился отец и перевёл разговор на другую тему. — Ты, кстати, что не женишься никак? Елизавета любит тебя, красивая, из хорошей семьи, ждёт, когда созреешь, а ты нос воротитшь. Такая партия хорошая будет: её отец-прокурор в тебе души не чает, постоянно спрашивает про тебя, беспокоится. Нам с матерью внуки нужны, ты об этом думаешь? — добавил он.

— Не люблю я её, понимаешь? — смотря в глаза, ответил Владимир Борисович отцу.

— Ну ладно, ты взволнован сейчас, ещё поговорим по этому вопросу, а дело с педофилом в голову не бери, не надо.

Тогда, пять лет назад, он старался не смотреть на подсудимого, когда зачитывал приговор так монотонно, поспешно, как заукокойную, и только звон колоколов доносился в открытые окна. В суде недавно заменили клетки на современные «аквариумы», и подсудимый стоял там, похудевший за время судебного разбирательства, с седой взъерошенной шевелюрой, похожий на одуванчик, сорванный кем-то и посаженный сюда. Он боялся встретиться с ним глазами, но чувствовал этот взгляд на себе и помнил его, помнил такие смиренные, какие-то даже детские глаза — от них было не скрыться.

После оглашения приговора Владимир Бо-

рисович зашёл в кабинет, он как будто спрятался там. Ему казалось, что осуждённый вдруг войдёт сюда, и ему не смогут помочь ни прокурор, ни вооружённые приставы, и он будет продолжать смотреть на него дальше, молчать, молчать и смотреть. Он перевёл дыхание и открыл дверь, чтобы позвать Таню, успокоиться, создать видимость рутинной работы, и увидел, как уводят осуждённого с поникшей головой всё дальше и дальше по коридору. Всё закончилось, и какое-то обманчивое облегчение разлилось в нём. Сейчас он опять вспомнил, как уверял себя перед приговором, что не может до конца быть уверен в его невиновности, мысленно спорил с отцом. Потом оправдывался перед собой, что ему пришлось осудить этого человека: так получилось, так сложились обстоятельства, он не мог по-другому.

Сейчас он смотрел в раскрытое и никому не нужное уголовное дело, лежавшее на его столе. В конце было подшито множество писем от осуждённого с синими штампами исправучреждений. Некоторые письма не были распечатаны. Он стал раскрывать их, долго смотрел, читал наивные живые рукописные строчки. Они начинались с поздравлений с Пасхой, Рождеством и другими православными праздниками, оканчивались словами «Молюсь за Вас и свою семью». В некоторых конвертах были отдельные листы с рисунками, выполненными карандашом или кофе. Там были изображены церкви, лес, маленькие дымящиеся заснеженные деревенские домики, полевые летние цветы. Рисунки были чёрно-белые, но какие-то светлые, живые, нельзя было даже подумать, что они были написаны там. Внизу была незамысловатая подпись автора.

Он раскрыл последний конверт, датированный почти годом назад. В нём лежал кофейный этюд, он понял это по оставшемуся запаху и цвету, именно такой цвет оставляли капли кофе и крути из-под чашек с ним на белых листах (черновиках приговоров). Как будто на лист бумаги просто пролили кофе и кистью сделали рисунок, а там, где оставался край пролитого кофе, получилась бледная пенка облаков, сквозь коричневатый туман проглядывал храм, который он много раз видел в окне своего кабинета, и еле заметная летящая в небе птица. Если посмотреть чуть дальше или чуть ближе, то просто можно не поймать рисунок. На обратной стороне листа было написано: «Поздравляю Вас, Владимир Борисович, с Рождеством Христовым».

В кабинете стояла какая-то молитвенная тишина. Он читал про себя все эти строки тем вспомнившимся ему голосом осуждённого, когда внезапно вошла секретарь Таня. Владимир Борисович вздрогнул от звука открывшейся двери и растерянно посмотрел на Таню. Она смотрела на него, держащего рисунок в руке. На столе лежали разные бумаги, вскрытые конверты и дело художника. Она хотела сказать, что уже поздно и она уходит домой, но поняла, что вошла в неподходящий момент, и не знала, как выйти, что сказать. Настало тихое минутное молчание, грустную связывая их. Судья и секретарь Танечка понимали, что такие письма больше не поступят в суд. Владимир Борисович смотрел на неё и испытывал странные чувства человека, застигнутого на месте преступления.

Был уже поздний вечер. Суд опустел и отдыхал. Владимир Борисович сложил все письма и материалы в дело и положил в стол, уже давно отодвинутый им от окна на то же самое место, где сидел раньше его отец. Вид из окна сильно отвлекал и мешал работе, а решётка в окне создавала ощущение тюрьмы. Он старался не смотреть туда теперь.

ЕЛЕНА ЧАСОВСКИХ

## ВРЕМЯ

*Там, откуда я родом, такого нет.  
Я не знала, что время*

*имеет цвет,  
Вкус и запах, объем,  
а на ощупь — ворс.*

*Я же думала, время  
рождает Хорс,  
Я же помнила: время стучит*

*в висок  
Или сыплется медленно,  
как песок.*

*Там, куда мы уходим,  
часы стоят,  
Время больше не время —*

*не мёд, не яд,  
Время больше не хочет гасить*

*Луну,  
Разрывая будильником тишину.  
Знаешь, время имеет обратный  
ход.*

*Тот, кто был себе верен, меня  
поймёт.*

*Шанс на встречу был в прошлом  
предельно мал,  
Потому что сегодня ты мне  
солгал.*

## ИСТОКИ

*В речке вода чиста  
И холодна до дрожи.*

*Правда и красота —  
Это одно и то же.*

*Мир отразился весь —  
Смотрится молча в воду.  
Выбери (вникни, взвесь)  
Правду или свободу.*

*Пей за глотком глоток.  
Дадено тем, кто просит.  
Это тебя поток  
За поворот уносит.*

*Не потеряй в волнах:  
Ты причастился тайны.  
И не солги за страх,  
Злостно или случайно.*

*Клятву свою держи.  
Если же дрогнет слово,  
То отженись от лжи  
И начинай ab ovo.*

*«Истина» и «исток» —  
От одного начала.  
Выбился ручеек.  
Правда не замолчала.*

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Мир нарядился в белое, он чист,  
Готов идти на свадьбу*

*и на бой.  
По снегу дети бегают гурьбой.  
Миксуются их окрики и свист  
Пронырливых синиц*

*в шатрах берёз  
С мяуканьем голодного такси.  
Как я живу? Спроси меня, спроси,  
Задай один какой-нибудь вопрос.  
Жизнь в белом. Как невеста,*

*как сестра,  
Лекарство подносящая к губам  
И шепчущая: «Смерти*

*не отдам,  
Очнись; тебе пока что не пора».  
И надо выплыть, вынырнуть,*

*уснуть,  
Пока река под лёд не унесла.  
Пришла зима из пуха и стекла.  
Как ты живёшь? Ответь же мне,*

*ответь.  
Погашены сигнальные огни  
Осенних клёнов. Смотрит  
из-под век*

*Прищуренных декабрь.  
Мы одни.*

*В одеждах белых-белых,  
словно снег.*



